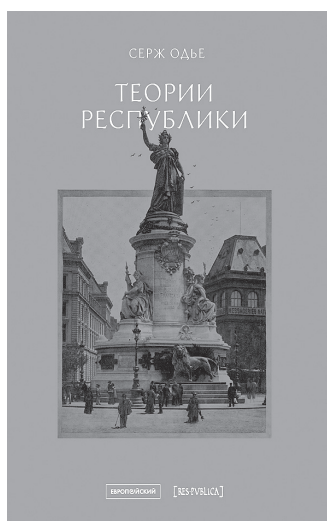


Рецензии

Теории республики

СЕРЖ ОДЬЕ

Перев. с фр. С. Б. Рындина,
науч. ред. О. В. ХАРХОРДИН
СПб.: Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге,
2021. – 174 с.



Перевод книги французского философа Сержа Одье продолжает серию предпринятых Европейским университетом изданий, знакомящих русскоязычную публику с традицией республиканской политической мысли. «Теории республики» предлагают сжатый очерк истории этого комплекса идей от античности до наших дней (в оригинале второе издание книги вышло в 2015 году). На всем протяжении работы Одье подчеркивает отличие своей версии истории республиканизма от того, как она рассказывается у Джона Покока, Квентина

Скиннера и их последователей, недостаточно, по мнению автора, останавливающих на «разнообразии, спорах и противоречиях внутри этой традиции» (с. 13). Подобная критика кажется довольно рискованной, поскольку, скажем, Покок оставил образцы в высшей степени нюансированной методологической рефлексии, проблематизировавшей соотношения индивидуального авторства и циркулирующих в обществе коллективных дискурсов, политических действий и актов письма, исходных значений текстов и их трансформации в ходе многовековой читательской рецепции¹. Одье в свою очередь выстраивает историю республиканской идеи гораздо более традиционным – и поставленным под сомнение Кембриджской школой – способом: как последовательность авторов, сочинения которых оцениваются с точки зрения их «оригинальности» и степени «влияния» на другие тексты. При таком подходе игнорируется ключевой для Покока и Скиннера контекст современных текстов и стоящих за ними политических языков, только на фоне которых и можно истолковывать смысл книг, вошедших затем в канон политической мысли. Впрочем, Одье рассматривает в своей работе несколько десятков теоретиков республики, так что в какой-то момент количество переходит в качество, и за изложением множества индивидуальных позиций начинают проступать очертания общего для них политического языка и способа мысли, а также ключевых дискутируемых вопросов (представительная или прямая демократия, влияние роскоши на нравы сообщества, соотношение коллек-

1 См., например: Покок Дж.Г.А. *The State of the Art (введение к книге «Добродетель, торговля и история»)* // *Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории* / Сост. Т. АТНАШЕВ, М. ВЕЛИЖЕВ. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 142–188.

тивного и индивидуального в общественной жизни, степень внутреннего единства или конфликтности позиций и так далее).

Первая часть книги посвящена античным и ренессансным истокам республиканской традиции. Ряд теоретиков открывается Аристотелем: его типологией форм правления, лучшие из которых стремятся к «общему благу», и знаменитым определением человека как «политического животного», наделенного речью. Полибий объясняет успех Римской республики смешанным политическим устройством (консулы, сенат и народ как монархический, аристократический и демократический органы власти), и эта модель «представляет серьезную часть наследия республиканизма» (с. 22). Среди римских авторов, у которых и возникает само понятие «республика», Ожье останавливается на Цицероне. Возникший в античности комплекс представлений о республике, общем благе, народе, свободе, законах, нравах и добродетели возрождается у итальянских «гражданских гуманистов», попеременно находивших идеал общественного устройства то в Древнем Риме, то в современной им Флоренции или Венеции. Особое место в своем изложении Ожье отводит Макиавелли, который «отвергает республиканскую традицию цицероновского типа, в которой *“согласие”* (*concordia ordinum*) является необходимым элементом, способствующим поддержанию в сообществе равновесия» (с. 31). Напротив, мыслитель подчеркивает необходимость конфликтности, «разобщения» между «умонастроениями» знати и народа, из антагонизма которых республика и черпает энергию для своего дальнейшего активного существования. Часть завершается рассмотрением двух противоположных политических моделей – абсолютистской теории Жана Бодена и «федералистского республиканизма» Иоганна Альтузия, согласно которому, «общество состоит из смычек различных ассоциаций людей» (с. 39).

Следующая часть обращается к республиканским теориям XVII–XVIII веков. Английская революция дает толчок появлению ряда современных ей политических концепций, среди авторов которых Джеймс Харрингтон отдает предпочтение гражданскому согласию и стабильности, тогда как Генри Невилл и Элджернон Сидней подчеркивают, вслед за Макиавелли, важность конфликтов и раздоров. Очень значимую роль в актуализации республиканского политического языка сыграл Монтескьё, который предлагает свою типологию форм правления и называет принципом республики добродетель. Другим ключевым теоретиком этого периода оказывается Руссо, у которого республика учреждается общественным договором и основывается на неотчуждаемом и неделимом суверенитете общей воли народа, исключающем возможность каких-либо конфликтов. Отчасти пересекается с идеями Руссо Адам Фергюссон, который писал про «деполитизирующие и дегуманизирующие последствия разделения труда» и «нависающие над политической свободой угрозы, порождаемые преследованием частного интереса» (с. 52). Отталкиваясь от Руссо, радикальную критику частной собственности осуществляет Габриэль Мабли, тогда как Газтано Филанджери «защищает репрезентативную систему» и «либеральную экономику физиократов» (с. 62). В конце XVIII века история республиканского политического языка определяется Американской и Французской революциями. Ожье пишет о спорах между федералистами и антифедералистами в США, Томасе Пейне, прогрессисте Николае Кондорсе, выступавшем за светское образование и отмену рабства, космополитическом республиканизме Канта и защите прав женщин у Мэри Уолстонкрафт.

В XIX веке, на котором Ожье сосредотачивается в третьей части книги, республиканские идеи вступают во взаимодействие с социалистическими и националистичес-



кими учениями. Республиканский социализм был доведен до крайнего предела еще в революционные годы радикальным эгалитаристом Гракхом Бабёфом, выступавшим за полную отмену частной собственности, и получил продолжение у Филиппо Буонарроти. В более мягкой форме эту традицию развивает Пьер Леру, который, стремясь избежать крайностей либерально-индивидуализма и «абсолютного социализма», ставил главной задачей «поощрение развития ассоциативной сети, которая, с одной стороны, ограничивала бы влияние рынка, а с другой – влияние государства» (с. 82). Артикуляция республиканских идей в тесной связи с понятием «нация» и освободительным движением осуществляется у Джузеппе Мадзини, тогда как умеренная версия республиканизма возникает у Армана Карреля и Алексиса де Токвиля.

Едва ли не самым интересным во всей книге оказывается раздел, посвященный мало известным сегодня французским политическим мыслителям эпохи Третьей республики – таким, как Жюль Барни, Шарль Дюпон-Уайт, Анри Мишель, Леон Буржуа, Селестен Бугле, Леон Дюги и другим. Оппозиционная по отношению к Наполеону III республиканская мысль начинает после падения Второй империи разрабатывать и обосновывать новые формы существования французского общества и государства. В частности, Барни утверждает необходимость всеобщего избирательного права, а также всеобщего бесплатного образования, которое одно способно воспитывать граждан, ответственных за судьбу сообщества, и должно быть для этого светским. Буржуа и Бугле, представители принципиального важного для Одь «солидаризма», продумывали, вслед за Леру, возможность синтеза индивидуалистического либерализма и коллективистского социализма (представленного в то время Жаном Жоресом). Утверждая исходную зависимость людей друг от друга и их вписанность в сообщест-

во, солидаристы дали концептуальное обоснование ряда политических реформ (особенно важными были здесь идеи Дюги – теоретика «публичных услуг»). Буржуа, одно время председатель Совета министров и Сената, «сыграл решающую роль в социальных законопроектах и установлении системы социальной защиты Третьей республики, [...] а также в возникновении Лиги наций» (с. 98). В целом же «солидаризм является важным этапом на пути к построению социального государства, оправдывающего зарождающуюся социальную и солидарную экономику» (с. 106). Этот же круг идей был значим для французского и итальянского Сопrotивления и «послевоенных программ восстановления» (с. 108). Последним из рассматриваемых в этой части теоретиков оказывается Пьер Мендес-Франс, председатель Совета министров середины 1950-х, выступавший за социал-демократические реформы и вовлечение граждан в жизнь республики помимо электоральных процедур.

Четвертая часть книги прослеживает актуализацию республиканской традиции во второй половине XX века, ее критику и попытки обновления в современных условиях. Воскрешение республиканских идеалов гражданского участия как наиболее предпочтительного способа самореализации человека начинается с Ханны Арендт. Близкое понимание республиканской традиции предложил и Покок, также делавший акцент на «деятельности гражданина, реализующего свою сущность свободного человека через ангажированность в публичную жизнь» (с. 116). Скиннер, напротив, считает гражданское участие не самоцелью, но инструментом для достижения гарантированной законом свободы. Маурицио Вироли подчеркивает важность особого республиканского патриотизма, чувства принадлежности к конкретному сообществу. Наконец, развивающий их идеи Филип Петтит опреде-

ляет республиканскую свободу как свободу от доминирования, что позволяет среди прочего отдать должное феминистскому и рабочему движениям, требования которых не выражаются языком либерализма, выдающего угрозу только во вмешательстве со стороны государства. Далее Одье останавливается на нескольких теориях, находящихся в диалоге с республиканской традицией: делиберативной демократии Хабермаса, либеральной интерпретации республики у Джона Ролза, концепции плюрализма «сфер справедливости» Майкла Уолцера. Затем в книге рассказывается о проблематизации республиканских идеалов в свете мультикультурализма. Айрис Марион Янг осуществляет острую критику республиканского универсализма, который, «отрицая существование различий между группами, часть которых находится в угнетенном положении, только усиливает эти неравенства» (с. 138). Сама Янг настаивает на пользе «политики различия». В свою очередь более умеренный Чарльз Тейлор старается «примирить некоторые идентитарные требования с поисками общего блага» (с. 144). Еще одним вызовом республиканизму оказывается требование демократизации. Разные варианты ответа были предложены в делиберативной демократии Джеймса Фишкина, ассоциационизме Роберта Патнэма и сильной демократии Бенджамина Барбера.

В заключение Одье предлагает серию оппозиций, с помощью которых можно классифицировать множество описанных им республиканизмов: консенсуальный и авторитарный / плюралистический и конфликтный, олигархический / демократический, консервативный / социальный, индивидуалистически-собственнический / постсобственнический, национальный и националистический / космополитический. Наконец, на последних страницах книги формулируется еще одна, прежде не обсуждавшаяся, дихотомия: республиканизму

производственному противопоставляется экореспубликанизм.

«Теория свободы как “не-доминирования” не позволяет в долгосрочной перспективе концептуализировать республиканскую свободу в экологических рамках межпоколенческой солидарности. Нам следует подумать о *выстраивании индивидуальной и коллективной автономии в их взаимозависимости*» (с. 165).

Выделенный курсивом финальный тезис оказывается, несомненно, ключевым посылом всей книги. Описывая множество теорий республики, Одье старается выделить в них эмансипаторный потенциал, позволяющий увидеть в этой традиции чаемый баланс, «третий путь», «синтез» либерализма и социализма. Стратегически важными ходами в этом предприятии оказываются перепрочтение Макиавелли как теоретика «конфликтности» и реактуализация наследия мыслителей-солидаристов времен Третьей республики, тексты которых были тесно связаны с политической практикой. Это позволяет связать республиканскую традицию с общественной динамикой и построением социального государства, из чего и следует расхождение между Одье и неореспубликанизмом Покока и Скиннера, ставившими перед собой другие политические задачи. При этом в изложении французского философа республиканская идея по необходимости оказывается довольно неопределенным, подвижным и противоречивым явлением. Рискуя быть обвиненными в схематизме, Покок и Скиннер тем не менее успешно вычленяют в прошлом особую, отличную от других традицию политической мысли и настаивают на ее актуальности. На другой стороне политического спектра сильный жест осуществляет, например, Жак Рансьер, отталкиваясь, как и республиканцы, от определения человека как «политического животного» у Аристотеля, но затем последовательно связывая

политику с актом «несогласия» и фигурами «несопричастных», борющихся за право быть включенными в общество². Одье же – при всей высокой оценке «конфликтности» – стремится к объединению (и, можно добавить, нейтрализации) противоборствующих политических течений. Попытка эта не представляется убедительной. Очень удачный и полезный обзор теорий республики – эта книга – оказывается довольно слабым теоретическим высказыванием, и ни к чему не обязывающие слова о «взаимозависимости» «индивидуальной и коллективной автономии» производят впечатление пустой риторической конструкции, не столько убеждающей в актуальности республиканского политического языка, сколько ставящей под вопрос его пригодность для решения современных проблем.

Олег Ларионов

Конституция свободы: введение в юридический конституционализм

Андраш Шайо, Рената Уитц
М.: Институт права и публичной политики³,
2021. – XVIII, 580 с. – 300 экз.

СВОБОДА И КОНСТИТУЦИЯ

В грустную эпоху коронавирусной демократии, не самым благоприятным образом сказывающуюся на бытовании столь привычных, казалось бы – по крайней мере, для какой-то части человечества, – демократических прав и гражданских свобод, два профессора-правоведа из Центрально-Европейского университета в Будапеште представили замечательный труд о том, что такое конституционный порядок, откуда

он взялся, чем обусловлены многочисленные стрессы, переживаемые им сегодня по всему миру, и почему так важно его беречь. Книга вышла в издательстве «Oxford University Press» еще в 2017 году – за два года до того, как венгерское правительство Виктора Орбана выдавило учебное заведение, где трудятся авторы, из венгерской столицы в Австрию. Если бы публикация состоялась попозже, то в ней, возможно, добавилась бы еще пара параграфов – что-нибудь об академических свободах при авторитаризме. Но и без того русскоязычная ее версия, появившаяся на свет благодаря стараниям одной из старейших гражданских институций постсоветской России, посвятивших себя утверждению принципов правового государства, стала ярким событием.



Расшифровка названия – «Введение в юридический конституционализм» – не должна, по моему мнению, пугать тех читателей, которые считают юристов невыносимо скучной публикой. Работа написана ярко и живо, обладая несомненным потенциалом увлечь даже того, кто всегда

² См.: РАНСЬЕР Ж. *Несогласие: политика и философия*. СПб.: Machina, 2013.

³ Институт права и публичной политики внесен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. – *Примеч. ред.*

считал себя далеким от права и правоведения. Трактую конституционализм как «приверженность идее ограничения власти государства», авторы указывают на то, что сегодня такая установка подвергается нападкам даже в странах с устоявшейся демократией: подъем популизма, фиксируемый во многих из них, свидетельствует, что, во-первых, конституционная демократия более хрупка, чем авторитарный режим, а во-вторых, она «может быть демонтирована своими же собственными средствами» (с. 2). Демократические конституции неизменно ориентированы на защиту прав личности, а следовательно, и на поддержание социально-политического плюрализма, но при этом множество наших современников, в том числе и живущих под властью демократически избранных правительств, считают нынешнюю пеструю неоднородность избыточной или даже вообще вредной.

«Разнообразие, существующее в обществе постольку, поскольку его охраняет конституция, доказывает любителям простых решений слабость правительства. С их точки зрения, во всем виноваты основные права: они не только позволяют людям быть другими, но и поощряют инаковость, в связи с чем обычные люди утрачивают чувство единения. В глазах неуверенного человека, ищущего для себя безопасной среды обитания, либерализм пробивает брешь в защитных укреплениях, возведенных национальным государством ввиду угрозы глобализации, и позволяет иностранному элементу взять ситуацию под свой контроль» (с. 4).

Опасности, которым сегодня подвержен конституционализм, предопределяются именно этим контекстом. Если конституция, как метафорично утверждается в книге, есть мачта, к которой крепится вся правовая система, то приходится признавать, что расшатывание либеральных, плюралистических, демократических принципов, за-

крепленных в конституционных текстах, может обрушить всю социально-политическую архитектуру современного социума со всеми его президентскими канцеляриями, парламентами, судами, гражданскими организациями. Поскольку тех мест, где может начаться коррозия, великое множество, авторы книги пытаются систематизировать зоны риска, по очереди останавливаясь на роли конституций, а также особенностях их появления на свет, на сущности демократии как системы и подкрепляющей ее инфраструктуры разделения властей, на значимости свода прав человека и даже на важности федерализма. Главная идея, красной нитью пронизавшая все это внушительное исследование, состоит в том, что на определенном историческом этапе демократия и конституционализм вступили в противоречие или даже в конфликт друг с другом. Более того, считают авторы, сейчас мы переживаем великий момент неопределенности: по прошествии двух десятилетий XXI века трудно сказать, какой же из двух принципов возьмет верх: сможет ли конституционализм предотвратить вырождение демократии в популистское торжество циников-ловкачей, игнорирующих любое инакомыслие, или же, напротив, «народовластие», понимаемое предельно широко и поэтому превратно, сумеет настоять на безоговорочной правоте большинства с вытекающими из нее издержками в виде ущемления всех тех, кто к большинству не принадлежит.

Это не новый сюжет, и дилемма, лежащая в его основе, тоже не оригинальна. «Что меньшинство должно уступать большинству, меньшее число большему, это мысль нам привычная, и люди полагают, что им нечего глубже вникать в вопрос, – писал Джон Стюарт Милль в одном из своих трактатов. – Им не приходит в голову, что есть середина между предоставлением меньшинству одинаковой власти с большинством и полным бесправием мень-

шинства»⁴. Мысль до того современная, что кажется, будто бы полутора столетий, отделяющих нас от великого английского либерала, вообще не было. Дело обстоит даже хуже, чем ему представлялось тогда: само наличие этой коллизии многими нынешними политиками не признается. Как ни парадоксально, именно механическое соблюдение правила «один человек – один голос» послужило подлинным фундаментом для сонма авторитарных режимов, расплодившихся на планете в последние десятилетия. «Не придирайтесь к нам, у нас запредельные рейтинги народной поддержки», – говорят их лидеры. Чаще всего, кстати, им даже фальсифицировать ничего не приходится, ибо граждане голосуют за своих вождей от души, «сердцем». И такие диктатуры, построенные на любви, наиболее крепкие – и самые отвратительные.

Но конституционализм не интересуется любовью, пусть даже самой горячей и воздвигнутой на общенародном порыве, – его увлекают более прозаические вещи.

«Вечная власть одного и того же большинства – отнюдь не то же самое, что правление большинства. Необходимо исходить из того, что состав большинства текуч, что оппозиция тоже когда-нибудь сможет сформировать правительство, что симпатии публики со временем меняются»⁵.

Тревоги Дональда Горовица, выдающегося специалиста по расколотым обществам, которому принадлежат эти слова, прекрасно сочетаются с теми мыслями, которые стремятся донести до читателя авторы рецензируемой книги. Свобода, не ограничиваемая конституцией, превращается в свою противоположность. Понятно, что любая конституция есть не что иное, как попытка удержать общественно-политическую реальность в заранее заданных и определенных рамках, наделить ее структурирован-

ностью и тем самым облегчить отдельным людям и их коллективам взаимодействие с политическими институциями и между собой. Но что, интересно, могут конституции, когда упомянутая реальность становится предельно зыбкой и крайне изменчивой, а социальные перемены идут не только стремительно, но и зигзагообразно? Можно ли и нужно ли добиваться, чтобы конституции обрели ту же пластичность, которая присуща самой жизни в ее нынешней кондиции? И будет ли «текущая конституция», смонтированная под стать «текучей современности», решать свои фундаментальные задачи – защищать личность от социума и ограничивать экспансию власти?

Ощущение нависшей над конституционализмом угрозы, которая всегда многолика и порой скрыта, – лейтмотив всего сочинения. Действительно, оснований для тревог больше чем достаточно: в каждой главе сочинения рассматривается свой круг опасностей, которые сегодня выходят на первый план, причем делается это с неизменной основательностью и дотошностью. Скажем, когда разговор идет о парламенте, авторы показывают, откуда взялось это конституционное учреждение, чего от него ожидали, как оно эволюционировало и к чему пришло – и, самое главное, какие внутренние пороки обнаружились в ходе его развития и насколько серьезно они угрожают конституционализму. Ученые с грустью констатируют тот факт, что в наши дни почти все парламенты, включая самые передовые, увлеченно передают свое право законодательствовать структурам исполнительной власти. Этот «кинжал делегирования», напоминают Шайо и Уитц, был выкован еще конституцией Веймарской республики, парламент которой широко практиковал передачу законодательных полномочий исполнительной власти – причем только в кризисных

⁴ Милль Д.С. *Рассуждения о представительном правлении*. Челябинск: Социум, 2006. С. 131–132.

⁵ HOROWITZ D. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press, 1985. P. 86.

ситуациях и только квалифицированным большинством.

К чему такой тренд привел в 1930-е, хорошо известно, но это отнюдь не мешает его возрождению в наши дни.

«Законодательный орган, уподобляясь Понтию Пилату, умывает руки. Делегирование освобождает парламентариев от ответственности, стоит им только конституционно уполномочить исполнительную власть урегулировать вопрос должным образом. В этой точке ответственность легислатуры за законотворчество вообще заканчивается: она исчезает прямо на глазах у избирателей» (с. 322).

Российскому читателю нет нужды объяснять, как конкретно происходят подобные вещи: Верховный Совет РСФСР – эта разгульная депутатская вольница начала 1990-х, обладавшая тем не менее всеми тремя функциями классического парламента (законотворческой, представительской и контрольной) и сыгравшая колоссальную роль в демонтаже коммунизма, всего за одно поколение превратился в учреждение, пафосно называемое Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, но при этом явно пробуксовывающее в качестве парламентской институции в классическом ее понимании.

Столь же обстоятельному интеллектуальному препарированию в книге подвергаются и другие сферы конституционной вселенной – от исполнительной власти и судебных учреждений до федеративных устоев и правозащитных структур. Анализируемый вектор перемен во всех главах один и тот же, поскольку непомерное возвышение президентов и правительств затрагивает каждую ячейку конституционной системы. Именно оно порождает на свет главного недруга конституционного порядка – всевозможные чрезвычайные и исключительные режимы, с удовольствием

практикуемые исполнителями по всему миру. Авторы говорят: в нашем судорожно развивающемся мире *нормальные ситуации* все труднее отличать от *чрезвычайных состояний*. А отсюда и серьезнейшая проблема:

«Как только различия между ними исчезают и в правовом смысле тоже, общество делается беззащитным перед опекающей его властью – пусть даже на какое-то время это может пригодиться людям по душе» (с. 512).

Вот почему наше дурное время плодит диктаторов. Вытекающий отсюда вызов более чем очевиден: что же должно делать современное общество, чтобы ограничить исполнительную власть, не допуская ее превращения в диктаторскую?

Однозначного ответа нет, потому что у болезни две разновидности. Первой следует считать злоупотребление чрезвычайными полномочиями там, где демократия не прижилась и не укоренилась. На кусок планеты, описываемой этими характеристиками, приходится львиная доля диктатур XX–XXI веков. Это – открытое и явное заблуждение; подобные случаи, кстати, авторов рецензируемой работы не слишком интересуют, поскольку действенная рецептура лечения давно прописана Никколо Макиавелли: для избавления от некоторых государей, утверждает он, «потребно железо» («Рассуждения о третьей декаде Тита Ливия», LVIII). Гораздо более интересен и сложен второй тип болезни, а именно, злоупотребления властными полномочиями в государствах, претендующих на то, что они по-прежнему остаются демократическими и впредь собираются поступать так же. Тут болезнь протекает скрытно. Понятно, что с чрезвычайными ситуациями сталкивается любая демократическая система, – и поэтому любая демократическая система обращается время от времени к чрезвычайным мерам. Но как сделать так, чтобы демокра-

тическое государство не забывало о своем фундаментальном предназначении – о защите прав и свобод человека? Или, говоря иначе, если оно все-таки было вынуждено прибегнуть к правовым аномалиям чрезвычайных режимов, то как возвращать его к конституционной нормальности? Можно высказаться и пошире: нужны ли в современную эпоху, когда цена человеческой ошибки возросла многократно, «сильные» президенты? Ведь от них обычно одни проблемы: по крайней мере на постсоветском пространстве после 1991 года дело обстоит именно так. Четких ответов у авторов нет, но они уверены: если конституционное правительство не научится обуздывать собственную исполнительную власть, его ждет самоуничтожение.

Книга весьма добротна выполнена с технической точки зрения: теоретические выкладки иллюстрируются конкретными кейсами, причем делается это столь масштабно, что в некоторых главах объемы вставок равны самому массиву текста. Все сочинение вполне можно назвать великолепным образцом современного правового исследования в зарубежном его исполнении, и то обстоятельство, что этот прекрасно отредактированный перевод отправляется к российскому читателю как раз в те времена, когда наша страна в общественно-политическом плане все заметнее опускается и дичает, очень и очень отрадно.

P.S. Спустя несколько месяцев после того, как эта полезная и нужная работа увидела свет, Министерство юстиции Российской Федерации объявило Институт права и публичной политики «иностранным агентом».

А.У.

Бесплезен, как роза

АРНХИЛЬД ЛАУВЕНГ

Самара: Бахрах-М, 2020. –

280 с. – 2000 экз.



Норвежская писательница и исследовательница, создавшая эту книгу, уже известна русскоязычному читателю. Первая ее работа, «Завтра я всегда была львом», в которой представлена проникновенная история победы автора над неизлечимой, как считается, болезнью, заставила задуматься не только врачей-психиатров и их пациентов, но и людей, не имеющих ни малейшего отношения к медицине⁶. Обозреваемая здесь книга продолжает и общую тему, и индивидуальную историю. Арнхильд Лаувенг, родившаяся в 1972 году и получившая образование в Университете Осло, ныне совмещает деятельность клинического психолога с правозащитной работой: она специализируется на отстаивании человеческого и гражданского достоинства людей, страдающих от психического нездоровья. В силу личных обстоятельств Лаувенг занимается этим со знанием дела: в семнадцать лет ее впервые направили в психиатрическую клинику с диагнозом «шизофрения». Последующее десятилетие жизни девушки превратилось в череду добровольных и принудительных госпитализаций, длившихся от нескольких

6 См.: ЛАУВЕНГ А. *Завтра я всегда была львом*. Самара: Бахрах-М, 2015.

дней до двух лет. В общей сложности Лау-венг провела на больничной койке почти семь лет, в последний раз покинув клинику в 26-летнем возрасте – и одержав в конечном счете победу над тяжелым недугом. В каком-то смысле ее история похожа на не менее нашумевший случай другого врача, тоже сумевшего исцелить себя: я говорю о Кей Джеймисон, профессоре психиатрии из Университета Джонса Хопкинса, самостоятельно преодолевшей биполярное расстройство и потом откровенно рассказавшей, как ей это удалось⁷.

Открывая повествование, автор пишет:

«Реальным фактом моего прошлого является то, что я болела шизофренией. Этот факт стал неотъемлемой частью моей истории и наложил свой отпечаток на меня сегодняшнюю. Таким же реальным фактом моей жизни является то, что сейчас я здоровый человек, не нуждающийся в медицинской помощи» (с. 4).

Согласитесь, что бывший пациент психиатрической лечебницы, ставший после выписки клиническим психологом, предстает фигурой довольно необычной и, безусловно, заслуживающей внимания. У Лаувенг, как уже отмечалось, большой стаж жизни с шизофренией: в голове у нее долгое время жил жестокий и злой Капитан, которому время от времени составляли компанию и другие голоса; были довольно длительные периоды, когда в больничной столовой ей выдавали только ложку, поскольку нож и вилку запретил лечащий врач, а о привязывании к кровати она знает не понаслышке. Молодую женщину годами убеждали в том, что ее болезнь хроническая, что она никогда не излечится, что ужасные симптомы всегда будут отравлять ей жизнь. Все это оказалось неправдой. В своем небольшом сочинении автор пытается рационализиро-

вать произошедшую метаморфозу, раскрывая обстоятельства, факторы, приемы, которые обеспечили благополучный исход. При этом Лаувенг полностью отдает себе отчет в том, что всякая дорога от заболевания уникальна и далеко не всем удастся выздороветь так же, как ей.

Лаувенг обращает внимание на любопытную деталь: по ее мнению, в обществе потребления психические расстройства переживаются особенно тяжело, поскольку в среде, где культивируются индивидуализм, успех, прагматизм, жизнь с ощущением неполноценности автоматически вытесняет человека на периферию. Дело в том, что неполноценность означает неэффективность, а неэффективность есть бесполезность. Между тем душевнобольной, как и новорожденный младенец, «бесполезен, как роза», и по этой причине требует к себе особого отношения: он будет готов к исцелению только в том случае, если общество научится видеть в нем ценность независимо от его «потребительских характеристик». Однако современная психиатрия, как полагает Лаувенг, не стремится к чему-то подобному, и это вызывает у автора протест: за каждым разделом книги стоит убеждение, что «сложившиеся системы, предрассудки, общие установки иногда полезно бывает перетряхнуть» (с. 6).

За годы болезни девушке не раз приходилось сталкиваться с тем, что за ней приходила полиция, ее насильно забирали из дома и отвозили куда-то, где ей совершенно не хотелось находиться, ее запирали, обыскивали, отбирали у нее вещи. Ей говорили, что она все неправильно воспринимает и что ее не выпустят, пока она сама этого не осознает. «В области психиатрического здравоохранения связь между тем, что говорится, и тем, что происходит на деле, зачастую еле просматривается», – философ-

7 Джеймисон К. *Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством*. М.: Альпина Паблишер, 2017. См. также рецензию на эту книгу, написанную Сергеем Гогиным: *Неприкосновенный запас*. 2018. № 2(118). С. 329–332.

ски констатирует Лаувенг (с. 18). Молодой пациентке приходилось сносить множество ограничений: на пользование телефоном, на радио- и телепередачи, на свидания с людьми «с воли», на контакты с другими пациентами. Ей говорили, что это делается для ее же блага, и она в принципе соглашается: да, внешнее принуждение порой необходимо, чтобы защитить человека от него самого. Но тем не менее «все равно трудно поверить, чтобы такой подход мог давать больному чувство защищенности, чтобы он способствовал доверию и побуждал к открытости» (с. 19). Как можно требовать от находящегося в состоянии помешательства, напуганного человека, который не может упорядочивать свои мысли и адекватно воспринимать социальные связи, чтобы он осознал, что люди, причиняющие ему страдания, желают только добра? Психиатрия хочет, чтобы ей доверяли, и это правильно: без доверия между врачом и пациентом ничего не получится; но при этом доверие нельзя навязать насильно – его надо сначала заслужить. А вот этой стороной вопроса, полагает автор, нынешняя медицина не слишком озабочена.

Чувство защищенности нельзя усвоить по приказу – оно возникает в процессе человеческого общения. Шведский психолог Ален Тупор, занимающийся проблемами адаптации людей с серьезными психическими заболеваниями, в начале 2000-х провел серию интервью с полностью или частично выздоровевшими людьми, в ходе которых интересовался лишь одним вопросом: что именно, по их мнению, кардинальным образом изменило их самочувствие? На первый план, как свидетельствовали беседы, выходило осознание пациентом своей избранности и личного достоинства, а также уважение со стороны врача. Респонденты Тупора особенно высоко ценили готовность медицинского персонала пойти ради них на нарушение рутинного распорядка – сделать для больного что-то

особенное, пусть даже в нарушение правил. С этим наблюдением отлично резонировало воспоминание самой Лаувенг о том, как в одной из клиник ей вопреки регламенту разрешили гулять под дождем: она чувствовала буквально физическое облегчение от этой микроскопической уступки. При этом, подчеркивает Лаувенг уже как врач, отношения между врачом и пациентом не должны переходить четко прочерченных границ. Касаясь одной из больших тем западной психотерапии, автор ссылается на данные, согласно которым у 40% пациентов, имевших сексуальные контакты с терапевтом, самооценка не повышалась – вопреки тому, на что и они сами, и их доктора поначалу надеялись, – а напротив, снижалась, а 80% больных потом изводили себя упреками.

«Одно лишь мнение терапевта не является надежным показателем того, что те или иные методы оказывают на пациента благотворное действие. Отношения между терапевтом и пациентом никогда не бывают равноправными, так как, хотим мы того или нет, у терапевта всегда будет больше власти, чем у пациента» (с. 28).

Лаувенг рассказывает, что, когда болезнь выматывала ее до конца, ей трудно было читать что-то серьезное, и тогда мама приносила ей в больницу детские книжки с картинками, где было мало текста. Девушка часами рассматривала иллюстрации: это было единственное, что оказывалось ей под силу. Когда голоса в голове активизируются, рассказывает автор, от музыки и фильмов очень устаешь, рукоделие требует повышенного внимания и даже аквариум в вестибюле воспринимается как угроза, поскольку с его помощью, пусть даже теоретически, можно нанести себе травму. Но ведь и вакуум недопустим, ибо в жизни пациента должно присутствовать «что-то другое», какое-то целесообразное занятие, которое не относится к лечению. Любой па-

циент, страдающий серьезным психическим расстройством, подобно всякому другому человеку, хочет, чтобы в его повседневной жизни имелось еще что-то, кроме диагноза, – чтобы он мог сознавать себя кем-то большим, чем просто «больным». Согласно автору, нам требуется то, что помогает прожить жизнь, которой мы живем в данный момент, независимо от состояния нашего здоровья. В этом плане хороши занятия «неторопливые, может быть, скучноватые, но спокойные, без неожиданностей, это иногда самое главное» (с. 52).

«Вертушечники» – так называют тех пациентов, за которыми не успевают закрыть дверь, как они уже снова попадают в больницу. Именно к этой категории бесспорно относилась и Лаувенг. Рецидивы возвращались волнами: девушке вновь приходилось жить с голосами, которые звучали все настойчивее и злее, существовать среди хаоса и кошмара, лишаящего мир осмысленной связи. По мере ухудшения состояния, вспоминает автор, она «вела себя глупее»: наносила себе увечья, заговаривалась, игнорировала опасности, то и дело попадала в неловкое положение в публичных местах, обижала и пугала близких людей. Несмотря на то, что при каждой выписке Лаувенг заранее знала, что снова вернется в больницу, она в глубине души надеялась, что этот раз будет последним. Дело закончилось тем, что после очередного острого приступа ее определили в отделение длительного пребывания.

«Это было окончательным подтверждением того, как тяжело я больна. Но, как ни странно, это придало мне надежду: теперь у меня будет время» (с. 69).

Руководствуясь тем, что шизофрения – болезнь хроническая и неизлечимая, лечащие врачи пытались убедить девушку, что она никогда не выздоровеет, а «периоды временного улучшения» всегда будут максимумом того, на что она может рассчиты-

вать. Поскольку болезнь прогрессировала, пациентку перевели из реабилитационного центра в дом инвалидов с душевными расстройствами, где ее мытарства стали еще более разнообразными. Согласно составленному для нее плану реабилитации, девушка должна была сдать экзамены на право получения высшего образования – она не успела поступить в вуз до болезни, – но у нее ничего не получилось. Разумеется, свою роль в этом сыграла сама обстановка интерната и постоянное пребывание в обществе нездоровых людей. Именно это подкосило Лаувенг окончательно: она опустила руки, согласившись со своей неполноценностью и невозможностью исцеления. «Я подала заявление на пособие по инвалидности, – пишет она. – Я сдалась» (с. 81). Но парадоксальным образом этот перелом в самооценке, проявившийся в готовности признать себя инвалидом, стал тем эмоциональным потрясением, которое мало-помалу, сначала совсем неощутимо, но запустило процесс выздоровления. Для того чтобы заниматься каким-то делом, рассуждала Лаувенг, не обязательно быть совершенно здоровым, многое можно сделать, несмотря на сохраняющиеся симптомы болезни. Лаувенг заставила себя неустанно работать над собой, в очередной раз подтвердив известную максиму: исцеление душевной болезни невозможно, пока этого не захочет сам пациент. Теперь она полагала, что болезнь не обязательно составляет самую важную часть личности – гораздо важнее то, как конкретный человек живет со своей болезнью в конкретной ситуации, «как живет личность со всеми ее другими свойствами, которые не поражены болезнью» (с. 105).

Тем не менее позднее Лаувенг вновь попала в психиатрический интернат длительного пребывания. Атмосфера в этой клинике была доброжелательной – по мнению пациентки, даже избыточно. Благодаря ремиссии девушка получила место

практикантки в университете: наставник-профессор поручил ей внесение в компьютерную программу результатов производимых им исследований. В скором времени Лаувенг должна была попытаться приступить к регулярным занятиям. Надо сказать, что в отделении мало кто верил, что она сможет стать студенткой университета, но даже само ее желание было встречено доброжелательно и с пониманием. Более того, врачи позволили ей выступить перед персоналом с докладом о правильном отношении и уважении к психически больным людям. Это была первая публичная лекция Лаувенг, за которой последовали множество других.

Героиня книги не выносит, когда ее представляют аудитории как «пациентку и психолога»: по ее мнению, это «незримое навешивание определенного ярлыка» (с. 101). Она сожалеет и о том, что предубеждению способствуют средства массовой информации, после любого серьезного преступления спешащие сообщить, имеют ли их персонаж какой-нибудь психиатрический диагноз и не лежал ли он в психиатрической лечебнице. Автор пишет: «Беда в том, что в своих представлениях мы склонны объединять людей с психическими заболеваниями в группу – и, если один из них убил человека, отчего же другим не делать того же?» (с. 113). Здесь полностью стирается тот самый индивидуальный, «точечный», подход, который столь важен для поддержания психического здоровья. Разумеется, отмечает Лаувенг, ситуация понемногу меняется, но это происходит очень и очень медленно.

В психиатрических клиниках огромное значение придается понятию «осознанного видения». Если пациент не использует его, оценивая свою болезнь, это плохо – и, напротив, когда оно вырабатывается пациентом, это хорошо. Лаувенг с крайней осторожностью воспринимает подобную практику. Да, бесспорно, человеку, не

воспринимающему себя как больного, помочь труднее, а понимание своего состояния выступает важным подспорьем при получении медицинской помощи. Но автора тревожит узкокобий, как она выражается, подход к «осознанному видению», который зачастую оборачивается тем, что врачи начинают требовать от своих пациентов слишком многого. Лаувенг вспоминает первые записи в собственной карточке: «У пациентки отсутствует осознанное видение болезни» (с. 136). Проблема заключается в том, что она тогда, действительно, отказывалась принять поставленный ей диагноз. Врачи говорили, что шизофрения – хроническая и, возможно, врожденная болезнь, с которой пациентке придется прожить всю оставшуюся жизнь. «За то, чтобы принять это “видение”, мне пришлось бы заплатить надеждой», – пишет она (с. 136). Лаувенг долго сопротивлялась, не желая принимать навязываемого определения «осознанного видения», но однажды все-таки сдалась. Да, сказала она себе и врачу, доктора правы, теперь она это осознала, голоса в голове являются частью болезни, надо привыкать с этим жить. После этого признания она ушла в палату и достала рисовальные принадлежности. Обычно на ее рисунках возникал образ маленькой девочки в красном платье, сражающейся с сонмом чертей и волков, но сейчас на картинке на фоне белого зимнего пейзажа притихшие и присмирившие черти сидели на белом гробу.

Не останавливаясь на всех разнообразных перипетиях этой саги, скажу, что автору, в конце концов, удалось излечиться. Лаувенг казалось, что она достигнет нулевой точки, а потом на нее снизойдет внезапное озарение: это будет как откровение, в жизни наступит драматический перелом, и тогда все вдруг изменится – и сразу станет очень хорошо. Однако ничего подобного не произошло. Вместо этого были долгие будни, которые нужно было как-то прожить.

Соппротивление, грозившее сломить Лаувенг, не принимало вида огнедышащего монстра – оно воплощалось в скучной и серой повседневности. Девушка действительно раньше жила с активной фазой болезни, но и окружающий мир не всегда вел себя нормально; теперь же предстояло «навсегда отделаться от привычки смотреть на реальный мир сквозь очки психиатрического диагноза» (с. 247).

Сейчас Лаувенг стала намного старше, и ее жизнь совершенно переменялась во всех без исключения отношениях. Но кое-что все-таки осталось таким же, ибо некоторые вещи, по ее словам, никогда не меняются. В пору госпиталей и интернатов она утратила все, что было ей дорого, и поэтому сегодня знает, что ничего в этой жизни не гарантировано. «Я смеюсь, я живу, я развиваюсь, я учусь и учу, – пишет Лаувенг. – Я встречаю много хороших людей» (с. 277). Но человек устроен сложно, так что приходится встречать и мелочных, жадных, несправедливых, которых она не понимает и которые не понимают ее, так что все заканчивается взаимной обидой. Тем не менее история норвежской девушки дарит надежду на выздоровление не только психически больным людям, но и тем, кто страдает от других тяжелых недугов. Лаувенг имеет мужество открыто говорить и писать о своем недуге, не боясь, что ее поймут превратно. А перевод книги «Бесполезен, как роза» на русский язык вообще можно считать знаковым событием, поскольку наше общество еще не научилось правильно относиться к тем, чья душевная жизнь не вписывается в стандартизированные рамки «психического здоровья».

Юлия Крутицкая

Элегантная наука о ядах от Средневековья до наших дней

ЭЛЕАНОР ХЕРМАН

М.: Эксмо, 2020. – 384 с.



ОТРАВЛЕНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На первый взгляд может показаться, что яды и отравления – такая специфическая тема, которая способна заинтересовать только любителей криминалистики. Для меня лично, однако, знакомство с этой книгой перевернуло привычное видение, поскольку на ее страницах представлена невероятная смесь явно жуткого и одновременно, как ни странно, столь же явно забавного. Ее автор, американка Элеанор Херман, уже давно осваивает одновременно два амплуа: она историк и телеведущая, многократно появлявшаяся в специализированных программах на каналах «National Geographic» и «History». Ее книги на англоязычном рынке хорошо покупают, что совсем не удивительно: автор нешуточно готовится к написанию каждой своей работы. Во введении она пишет:

«Я научилась проводить вскрытие и бальзамирование так, как его делали в XVI веке – занятие не для слабонервных. Широко распахнув глаза, я читала книги рецептов красоты времен Ренессанса, где в качестве ингредиентов предлагалось использовать ртуть, мышьяк, свинец, фекалии, мочу и человеческий жир. Я с головой ушла в современные научные работы по эксгумации королевских тел, которые свидетельствовали о присутствии в останках различных токсичных материалов. Наконец, я обнаружила сложные – и смешные с нашей точки зрения – протоколы предотвращения отравления при королевских дворах» (с. 14).

Упоминание рецептов красоты в контексте отравлений и отравителей симптоматично: в европейской культуре яды во все времена присутствовали в изобилии, причем их дозы далеко не всегда были смертельными, а убийства оставались отнюдь не главным их предназначением. Рассматривая роскошные портреты былых веков, мы зачастую не ощущаем того, что скрывалось под напыщенными аристократическими одеяниями; между тем «зловоние немытых тел, смертельные бактерии из загрязненной воды и плохо приготовленной пищи, мучительные опухоли, разъедающие жизненно важные органы», требовали того или иного применения опасных субстанций – как, впрочем, и бытовавшие тогда «варварские методы лечения, более опасные, чем сама болезнь» (с. 35). Приобщая читателя к этому миру возвышенной красоты и грязного убожества, автор предлагает погрузиться в дворцовую культуру профилактики неизбежных отравлений, а также знакомит со сложными бытовыми обычаями, в которых были задействованы яды.

С эпохи Ренессанса ядовитые химические субстанции превратились именно в то, что мы подразумеваем под ядами сегодня, а именно, в специфическое орудие убийства. В отличие от древних римлян, которые для устранения ненужных наследников и иных

врагов использовали токсины растительного происхождения, отравители эпохи Возрождения обращались к более надежным тяжелым металлам – смертоносной четверке, состоявшей из мышьяка, сурьмы, ртути и свинца и остающейся в моде сегодня. Исторически репутация «страны ядов» прочно закрепилась за Италией. В свое время Медичи основали фабрики, где производимые в промышленных масштабах смертельные составы тестировались на заключенных. Когда в архивных источниках указывается, что Совет десяти, руководивший Венецианской республикой в XIV–XVIII веках, распорядился об организации какого-нибудь убийства «тайным, осторожным и ловким способом», – значит, речь идет о яде. Согласно подсчетам историков из американского Университета Дьюка, с 1431-го по 1767 год это динамичное итальянское государство спонсировало как минимум 34 политических отравления. Причем, как и в более поздние времена, далеко не каждая попытка отравителей оказывалась удачной: в одиннадцати случаях жертвам удалось выжить. Очевидно, что венецианцы фиксировали далеко не все подобные покушения, в действительности их было гораздо больше. О том, что дело было поставлено на широкую ногу, свидетельствуют, в частности, найденные в архивах Совета десяти подробные рецепты, применявшиеся в 1540–1544 годах. Помимо традиционных составляющих типа сурьмы, мышьяка или нашатыря, в них использовались более экзотичные химические субстанции – реальгар, аурипигмент, соль аммония и ярь-медянка, а также дистиллят листьев цикламена.

Столь же широко использовалась смесь, известная как аква-тофана (*Acqua Toffana*), или неаполитанская вода, – токсичное варево из мышьяка, свинца и белладонны, бесцветное, безвкусное и легко смешиваемое с вином. В королевских дворах Европы его очень боялись и поэтому повсюду соз-

давали специальные штаты служащих, которым предписывалось предварительно пробовать любые королевские яства. Со временем полномочия дегустаторов были серьезно расширены: им предстояло испытывать абсолютно все, чем хотя бы теоретически могла воспользоваться венценосная особа.

«Слуги целовали королевскую скатерть и подушку для сидения, и если их губы не зудели и не опухали, то предполагалось, что предметы не содержат яда. [...] Слуга, приносивший королевскую салфетку из бельевого шкафа, делал это, повязывая ее вокруг шеи, чтобы убедиться, что в складах не скрывается яд» (с. 27).

Как иронично замечает автор, с учетом многочисленных поцелуев, которые перепали каждому предмету дворцового быта, включая подушку на ночном горшке, монарх, судя по всему, вообще не имел возможности пользоваться по-настоящему чистыми вещами – просто в некоторых случаях ему, вместо мышьяка, предлагались чужие микробы.

Порой монархи опасались даже дышать. В 1529 году до королевы Маргариты Наваррской дошел слух, что один из епископов задумал отравить ее каким-то нетрадиционным способом. Исследовав вопрос, она выяснила, что монахи научились травить своих врагов с помощью дыма ладана прямо во время службы. Это был явный прогресс, поскольку в ренессансные времена яды, попадавшие в организм через пищеварительный тракт, в основном покидали его с рвотой и поносом, что давало жертве шанс выжить. Но ядовитые пары ртути, например, не имевшие вкуса и запаха, представляли собой совсем другое дело: они поступали непосредственно в мозг. В подобном случае никто не мог сказать с точностью, умер человек от яда или от обычной болезни, поскольку тогдашняя медицина знала о человеческом теле на удивление мало.

Среди прочего придворные лекари не догадывались, например, о том, что мышьяк и прочие яды никогда не вызывают лихорадки, которая могла быть исключительно симптомом либо пищевого отравления, либо малярии. А это значит, что огромное количество так называемых «убийств» в XVI–XVII веках на самом деле таковыми не являлись, поскольку смерти провоцировали естественные причины, на каждом шагу встречавшиеся в тогдашней жизни, полной опасностей и угроз. В этой связи Херман ссылается на пример «отравительной путаницы» с участием папы Александра VI Борджиа и его сына Чезаре Борджиа. Долгое время считалось, что этот наместник святого Петра был отравлен мышьяком, а вина в его смерти приписывалась кардиналу Адриано да Корнето, который в начале августа 1503 года угощал отца и сына ужином на своей вилле. После трапезы все трое ее участников слегли, причем папа 18 августа умер, а его сын и кардинал выжили. Современники также не исключали, что папа и Чезаре сами пытались отравить хозяина стола, но фляги с вином перепутались, и отравители выпили собственный яд по ошибке. Сегодня, однако, известно, что отравление мышьяком никак не может проявиться спустя неделю – в отличие от инфицирования малярией. Поэтому нынешние историки склоняются к предположению, что участников зловещего застолья покусал один и тот же малярийный комар. Как бы то ни было, эта история надолго заклемила итальянцев в качестве зловещих отравителей. Дело дошло до того, что в Англии XVI века, как сообщается в книге, вместо слова «травить» иногда использовали глагол «итальянить» (с. 37). Естественно, в случае неожиданной смерти какого-то королевского сановника подозрение сразу же падало на ближайшего итальянца из его свиты.

Злоупотреблений ядами по недоразумению или по ошибке было не меньше, чем

умышленных отравлений. В преддверие Нового времени европейская знать очень восхищалась всемирно известной английской белизна кожи. Интерес имел вполне практическую подоплеку, поскольку в XVI–XVII веках безупречный цвет лица был не просто вопросом красоты: состояние кожи напрямую связывалось с греховным поведением или как минимум с наличием непристойных сексуальных фантазий. Желая услужить дамскому обществу, английские медики придумали смесь из скипидара, пчелиного воска и человеческого жира, которую надлежало наносить на лицо. Неудобство заключалось в том, что последний из ингредиентов был относительно редким: в основном им торговали палачи, вырезавшие жир из теплых трупов казненных преступников. Поэтому существовал великий спрос на альтернативы, одной из которых стал церус.

Это был пастообразный макияж, состоящий из настойки свинцовой руды, уксуса и гидроксида либо карбоната мышьяка. Наносимый поверх яичных белков, он заполнял неровности на коже и придавал лицу поразительную, почти серебристую белизну, которая преломляла свет. Подобная мода стала тотальной для женщин той эпохи после того, как к церусу обратилась английская королева Елизавета I. К сожалению, свинец впитывается через кожу и со временем приводит к выпадению волос, параличу мышц, депрессии и слабоумию. Более того, в случае нанесения на все тело эти белила заставляли светских дам быстро высыхать фигурой, так как их компоненты иссушали естественную влагу плоти. Иначе говоря, макияж елизаветинской поры был смертельно опасным: даже если знатной англичанке удавалось не умереть от родильной горячки, что случалось сплошь и рядом, то чрезмерная забота о коже лица и тела прерывала ее жизнь в последующие пару десятилетий (достижение шестидесяти лет воспринималось как настоящее чудо,

этот возраст считался глубокой старостью). Разумеется, лекарям, изготавливавшим подобные снадобья, и в голову не приходило, что они могут быть убийственно вредными.

Американская писательница не без иронии замечает, что «любому монарху, ощутившему легкое недомогание, следовало бы хорошо запереть двери от придворных врачей, которые регулярно прописывали яды» (с. 79). По обыкновениям эпохи, чем хуже становилось пациенту, тем больше тяжелых металлов ему рекомендовали к употреблению и тем плачевнее делалось его состояние. Лечение разрабатывалось исходя из наличия в человеческом организме четырех телесных жидкостей (гуморов) – крови, мокроты, а также черной и желтой желчи, пары которых, поднимаясь к мозгу, якобы влияли на физическое и нравственное здоровье. Если жидкости не сбалансированы, то возникает болезнь. С недугом можно было справиться с помощью диеты, зелий – или истощения избыточных гуморов через кровопускание, обильную рвоту, потоотделение, искусственно вызываемую диарею. Медики полагали, что каждый человек предрасположен к более интенсивной выработке какой-то одной жидкости: у веселых и общительных сангвиников преобладала кровь, у малодушных флегматиков – мокрота, у расслабленных меланхоликов – черная желчь, а у злых холериков – желтая желчь.

«Считалось, что гуморы и пища, контролирующая их уровень, влияют на пол и фертильность. Красное мясо, сахар и вино, по мнению ученых, усиливали сексуальное желание. Продукты, провоцирующие газообразование, например, бобы, употребляли в пищу в надежде, что они увеличат размер члена. Хотя, разумеется, приступ метеоризма мог и вовсе положить конец сексуальному интересу» (с. 81).

В рамках такого подхода реальные болезни нередко представляли полезней-

шим фактором, избавлявшим организм от пагубного давления той или иной телесной жидкости. Когда четырнадцатилетний Эдуард VI заболел оспой, едва оправившись от кори, его врачи возликовали. Оспа, как пояснял его лекарь, должна была способствовать очищению тела от нездоровых гуморов.

В ряду эффективных медикаментов раннего Нового времени выделялись останки святых, высоко ценимые медиками. Разумеется, это волшебное средство было доступно далеко не всем, поскольку в постель к больному подкладывали мощи святых, арендуемые с этой целью у церквей и монастырей. Дозы «лекарства» могли быть разными: кому-то прописывали кусочек нетленного тела, а кому-то – покойника целиком. В XVI веке одна из испанских инфант, которая никак не могла оправиться от лихорадки, придя в себя, вдруг «обнаружила на подушке по соседству ухмыляющийся череп с ключьями высохшей кожи и копной черных волос, уставившийся на нее пустыми глазницами» (с. 86). Мы не знаем, выздоровела ли девушка от этого «сильнодействующего средства», но не вызывает сомнения, что пережившему подобное никакая болезнь будет уже не страшна. Кстати, не менее действенными считались и экскременты. Так, согласно дошедшему до нас средневековому рецепту, больным, которые «сплевывают кровь вследствие перелома груди», рекомендовалось пить измельченный мышиный помет, а при камнях в почках или инфекции мочевого пузыря – принимать бычий навоз, смешанный с редисом. К сожалению, истории болезней пациентов, лечившихся таким образом, до наших времен не дошли.

На протяжении столетий яды естественного и искусственного происхождения были неотъемлемой составляющей европейского быта. Во многом этому способствовала повсеместная антисанитария, порождавшая опустошительные эпидемии.

Кульм личной гигиены, поощряемый античной цивилизацией и истребленный христианством, восстанавливался в Европе Нового времени с большим трудом. В парижских театрах, например, еще в XVII столетии в ложах ставили ночные горшки, чтобы зрители могли решать свои неотложные проблемы, не отвлекаясь от любимой оперы. Причем театральные залы не были исключением: телесные отправления оставались нормальным делом и в остальных публичных местах. Современник, посетивший в 1675 году парижский Лувр, утверждал: «На парадных лестницах, а также почти везде можно ежедневно отыскать человеческие экскременты, оставленные здесь по зову природы, кои пахнут невыносимо» (с. 107). Королю Генриху VIII пришлось даже издать указ, запрещающий мочиться под стены дворцовых садов и на лестницах. Кстати, именно этой гигиенической распушенностью объяснялось сохранявшееся до XVIII столетия обыкновение примерно раз в две-три недели менять дислокацию королевских дворов. Венценосцы и их придворные переезжали из замка в замок вовсе не для того, чтобы развлечь себя новыми пейзажами: дворцы освобождались от обитателей для всесторонней уборки и дезинфекции.

К сожалению, размышляя о том, что же сделало европейскую жизнь столь дурно пахнущей, Херман в силу какой-то странной аберрации не указывает читателю на главного виновника, а именно – на христианство. Приводя факты, она почему-то избегает однозначно следующих из них выводов. Между тем, если в начале V века одиннадцать римских акведуков Рима наполняли водой более 1200 общественных фонтанов и более 900 общественных бань, то через столетие от этого водного изобилия ничего не осталось. Готы, вторгшиеся в Западную Римскую империю в 537 году, разрушили акведуки, а вставшая на ноги христианская церковь закрепила

их успех, объявив поддержание чистоты тела греховным гедонизмом, присущим лишь язычникам.

«Толстый слой грязи на коже, предписанный церковью, свидетельствовал о христианском смирении и не позволял болезням проникать в тело. Со временем врачи пришли к убеждению, что мыться вообще опасно» (с. 112).

Результат хорошо известен: повальная антисанитария и рождаемые ею эпидемии надолго превратились в норму европейской жизни.

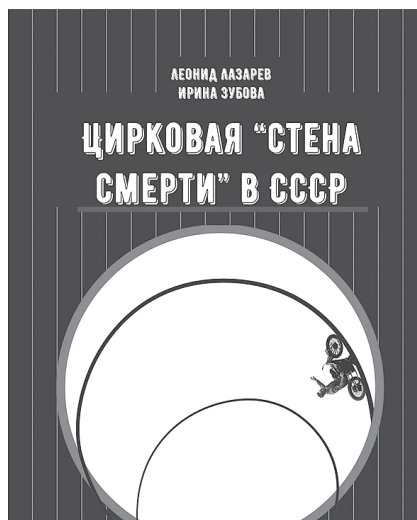
В книге три части, но в основу этого обзора легла лишь первая из них – «Яды, повсюду яды». Две другие – «Ядовитые хроники» и «Отравления в истории Нового и Новейшего времени» – содержат разбор конкретных кейсов, от юного Эдуарда VI и бедных жен Ивана Грозного до Моцарта и Наполеона Бонапарта, а также миниэнциклопедию ядов, пользовавшихся особой популярностью среди европейских отравителей. Там много любопытной фактуры, но маловато причинно-следственных связей, которые читателю придется выстраивать самостоятельно – что, впрочем, придаст чтению дополнительную увлекательность. Кроме того, Элеанор Херман можно пожуричь и еще за одну вещь: пообещав охватить в повествовании наши дни, она, увы, не выполнила собственного обязательства. Несмотря на то, что труд посвящен российскому диссиденту Владимиру Кара-Мурзе, который «подтвердил, что королевский обычай⁸ не умер в эпоху барокко, а существует и сегодня – в век цифровых технологий», читателя, несомненно, удивит то обстоятельство, что о Викторе Ющенко, Владимире Литвиненко, Сергее Скрипале американская исследовательница словно и не слышала. Это, безусловно, большой минус. А вот кому нужно по-настоящему воздать должное, так это

маркетологам издательства «Эксмо»: выбросить на рынок *такую* книгу под занавес достопамятного 2020 года – безусловная коммерческая удача.

РЕЗА АНГЕЛОВ

Цирковая «Стена смерти» в СССР

ЛЕОНИД ЛАЗАРЕВ, ИРИНА ЗУБОВА
М.: Издательство ИТРК, 2020. – 256 с. – 1000 экз.



Московский фотограф Леонид Лазарев (1937–2021) – сын артистов известного и любимого в СССР циркового аттракциона «Мотогонки по вертикальной стене». Незадолго до своей кончины он выпустил в соавторстве с ульяновским историком Ириной Zubовой книгу воспоминаний. Около половины ее объема занимают фотографии из архива Лазарева и других людей, что делает жанр издания как бы гибридным: его можно воспринимать и как комментированную фото летопись, и как богатую иллюстрированную мемуары. «Леонид

8 Оригинальное название рецензируемой книги – «The Royal Art of Poison».

Николаевич писал на основе своих эмоций и воспоминаний, а я – на основе документов», – говорит Ирина Зубова. По признанию Лазарева, Зубова «спасла» его тем, что самостоятельно погрузилась в документы, включая письма с фронта, которые самому мемуаристу читать было эмоционально тяжело. С помощью историка было легче восстановить последовательность событий и многочисленные детали.

Цирковые мотогонки – изобретение американское: первое мотошоу на наклонном треке появилось в 1911 году в парке развлечений на Кони-Айленде, в Нью-Йорке. Группы артистов конкурировали между собой, высота деревянных треков росла, в итоге появились «бочки» с вертикальными стенами, на которых параллельно земле вращались мотоциклисты, удерживаемые центробежной силой. Атракцион получил название «Стена смерти» и в середине 1930-х добрался до СССР, где стал чрезвычайно популярным. Но троем американским артистам (по другой информации, это были англичане) дали поработать лишь пару лет: их выслали из страны в 1938 году. Лазарев считает, что причиной была даже не ксенофобия, а политика Главного управления цирков: ведомство старалось выдавливать иностранцев, чтобы те не составляли конкуренции советским артистам.

Четверо энтузиастов московского автомотоклуба на Никитском бульваре стали ядром команды отечественной «Стены смерти», которая начала работать уже в 1938 году.

«Советский атракцион копировал американский образец один в один – и конструкцию самого сооружения, и тип мотоциклов. Единственным отличием был диаметр “бочки”: американской – 9 метров, а советской – 8,5» (с. 17).

Любопытно также, что русские ездили не против часовой стрелки, как американцы, а по часовой, хотя это было сложнее и опаснее. Идеальным мотоциклом для шоу

считался американский «Индиан Скаут» – мощный, надежный, с низким центром тяжести, что делало его устойчивым, и при этом легко управляемый. Потом стали использовать чехословацкую «Яву-350» и советский «Ирбит М-52» (тяжелый и плохо управляемый), а также такую экзотику, как мотороллер «Тула-200», хотя и недолго.

Атракцион требовал от исполнителей безупречного мышечного чутья, чувства равновесия. На треке артисты испытывали такие же перегрузки, как летчики в истребителе. Работа на вертикальной стене предполагала постоянный риск. Риск был нормой: мог подвести сам мотоцикл, а могло – и сцепление колес с треком из-за обледенения или влажности. Отдельные трюки выполнялись с платком на лице артиста, он при этом мог даже сидеть «амазонкой».

«Однажды был случай, когда одна из поклонниц кинула букет роз своему кумиру, и цветок попал между мотоциклом и стеной. Итог был печален – множественные переломы и долгое лечение» (с. 17–18).

Работа цирков не прекращалась и во время войны. Очевидно, правительство таким образом заботилось о поддержании духа народа. Безостановочно в тыловых цирках демонстрировали и гонки по вертикальной стене. Хотя в стране было несколько команд, гастролировавших с этим атракционом, Лазарев пишет в основном о группе, которую возглавлял его отец Николай Мундингер. Вместе с ним в атракционе участвовала его жена Надежда Лазарева и их старший сын Роман. За шестичасовой рабочий день артист должен был провести семь сеансов, но для плана его могли обязать сделать и все двенадцать. Билет на сеанс мотогонок по стене стоил один рубль, что, по тогдашним меркам, было немало. Атракцион пользовался чрезвычайной популярностью и приносил хороший доход, но при этом артисты испытывали финансовые трудности: зарплату им постоянно задерживали, и бывало,

что они не могли разъехаться по домам после гастрольного сезона, потому что было не на что. Гонщики исполняли номер на собственных мотоциклах, стоявших приличных денег (подержанный «Индиан Скаут» перед войной оценивался в 7500 рублей), при этом деньги на бензин и обслуживание приходилось выбивать у циркового начальства, если это вообще удавалось.

Аттракцион гастролировал по всей стране безостановочно, так что для артиста эти гонки превращались в конвейер. По воспоминаниям Надежды Лазаревой, гастролировать приходилось по Сибири даже зимой, когда температура в цирке была минус сорок и руки примерзали к рукояткам мотоцикла. Во время презентации книги в Ульяновске 8 октября 2020 года Ирина Зубова отметила:

«Не могу представить, чтобы люди ходили при минус сорока смотреть цирковое представление, но в годы войны такое было. Но и после войны гонки по вертикальной стене были непременным участником всех больших событий, например, международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Аттракцион, который пришел из-за границы, преподносился как высшее достижение советского циркового искусства и советского мотоспорта».

В 1952 году большой цирковой художник отметил «образцовую работу при исполнении сложных рекордных трюков» командой аттракциона под руководством Николая Мундингера. Ульяновский филолог Александр Рассадин, который помнит этот аттракцион, сказал во время той же презентации, что наблюдать гонки по вертикальной стене было счастьем для каждого мальчишки:

«От этих мотогонок в памяти остались не только визуальные образы, но еще и запахи – запах бензина, дерева, человеческого пота и страха, детских страхов: это же какой риск – ездить по этой вертикальной стене».

Леонид Лазарев тут же дополнил эти впечатления:

«У мотоцикла “Индиан Скаут” был потрясающий звук выхлопа. У него были короткие выхлопные трубы, направленные вниз, и, когда эта четырехтактная двухцилиндровая машина заводилась, возникал такой могучий, тяжелый, низкий звук, и сам этот звук вызывал чувство восторга. В финале выступления этот рокот сочетался с легким колокольным звоном, который издавали центральная стальная мачта и люстра. Это оказывало на зрителей мощное психологическое воздействие: они уходили обалдевшие, но с улыбкой».

Народное признание аттракциона отражалось и в том, что артистов заваливали благодарственными письмами, в первую очередь Романа Мундингера, у которого была куча поклонников и особенно поклонниц. Некоторые именитые авторы таких отзывов связывали «высокие достижения аттракциона исключительно с возможностями советской страны, где партия и правительство уделяют огромное внимание и создают условия для развития искусства, спорта» (с. 227).

В своих воспоминаниях Леонид Лазарев посвятил по отдельной главке известным артистам-мотогощикам, в числе которых Александр Смирнов, Григорий Левитин, Леон Айказуни, Михаил Арвас, Наталья Андросова, Юрий Левченко, Газарос Синихчанц, Валерий Шман, родители автора Надежда Лазарева и Николай Мундингер, брат автора Роман Мундингер. Айказуни, в частности, придумал рискованный номер: он проезжал на мотоцикле по натянутому через весь стадион тросу (именно этот трюк стал для артиста смертельным).

Крайне любопытна биография Натальи Андросовой – внучки великого князя Николая Константиновича. Ее отец воевал в Белой армии, и она всю жизнь скрывала свое происхождение, «замаскировав» его, выйдя замуж за совслужащего. В 1939-м,

в возрасте 22 лет, она пришла в аттракцион «Мотогонки по вертикальной стене» и проработала в нем до 1967 года. По воспоминаниям, она была необыкновенно красивой женщиной, поэтому за ней закрепилось прозвище «Княжна», а среди ее поклонников были поэты Александр Галич, Андрей Вознесенский и Александр Межиров, а также писатель Юрий Нагибин. Режиссер Николай Досталь, чьи короткие воспоминания также опубликованы в книге, был ее воспитанником, почти приемным сыном.

В мемуарах Лазарева, дополненных комментарием Ирины Зубовой, рассыпано множество любопытной информации, отражающей интересное и трудное время. Насколько ярко, например, характеризует Николая Мундингера тот факт, что ему «предлагали стать водителем посла США, но он не мог заставить себя выйти из машины и услужливо открыть дверцу иностранному дипломату» (с. 136). Или другой факт: из-за нехватки денег артисты аттракциона были вынуждены в свободное время заниматься кустарным производством – они шили женские босоножки и продавали их на вещевом рынке: «Так добывались существенные деньги для жизни» (с. 145).

Книга богато издана, но при этом ей, как часто бывает, не хватило редактора и даже корректора (в тексте многовато орфографических и пунктуационных ошибок). Слишком ощутима разница между разговорным стилем воспоминаний Лазарева и научным, зачастую тяжеловесным стилем вступления и комментария Зубовой, при этом, кто именно из них что писал, четко не указано. Комментарий повторяет многое из того, что есть в самих воспоминаниях. Независимый редактор не прошел бы и мимо раздражающих недоговоренностей. Например, в главке «Ценитель поэзии и советский коммерсант» Лазарев рассказывает о старшем друге своего брата Дмитрии Яковлеве (Дим Димыче), которо-

го расстреляли по требованию Хрущева. Авторы умалчивают, что Яковлева осудили за валютные операции, полагая, что это и так очевидно. Проецирование авторского опыта на читателя, у которого такого опыта нет, – серьезный издательский грех, который было бы легко искупить профессиональным редактированием.

Мотогонки по вертикальной стене родились во времена, которые требовали от советских людей героизма, во многом вынужденного. В то время на слуху были герои-полярники из группы Ивана Папанина, ширилось стахановское движение, совершал свои беспримерные перелеты Валерий Чкалов. Аттракцион встраивался в этот героический ряд и вызывал непомерный энтузиазм у зрителей. Но к началу 1960-х, с концом «оттепели», аттракцион при всей его былой популярности начал угасать – вместо «бочки» с деревянными стенами стали использовать менее зрелищную металлическую сферу. Гонки лишились героического ореола и превратились в способ эксплуатации артистов, в средство извлечения дохода для советской казны. По словам Лазарева, артистам навязывали такие финансовые условия, которые лишали их работу смысла.

Книга о вертикальных мотогонках в СССР полезна тем, что раскрывает одну из любопытных страниц советской истории. По словам филолога Рассадина, это не эпическая, а локальная литература, но она нужна, потому что без нее нет литературы эпической. Он также выразил признательность авторам за то, что они включили в книгу фрагменты стихов Александра Межирова. Эпиграфом к книге послужили строки из стихотворения «Апология цирка»: «Он, танцует в ритме вальса, / Под перегазовок шквал, / Со стены сырой срылся, / Кости, падая, ломал».

СЕРГЕЙ ГОГИН